

Дмитрий
Мережковский

ЛИЦА

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
О ДЕЯТЕЛЯХ ИСКУССТВА
И ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Лица. Критические статьи о деятелях искусства и литературы / Д. Мережковский. — М.: T8RUGRAM, 2018. — 100 с.

ISBN 978-5-521-78953-5

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Лица. Критические статьи о деятелях искусства и литературы» — это блестящий сборник критических статей, в которых Мережковский анализирует творчество таких известных личностей как Иосиф Пилсудский, Борис Савинков, Фёдор Достоевский, Владимир Набоков, Леонардо да Винчи, Гёте и других авторов.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-78953-5

© T8RUGRAM, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ИОСИФ ПИЛСУДСКИЙ.....	5
САВИНКОВ И ВРАНГЕЛЬ	13
БАЛАХОВИЧ.....	18
САВИНКОВ.....	22
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ.....	29
В. Д. НАБОКОВУ.....	36
ПУШКИН С НАМИ	37
УГЛЬ ПЫЛАЮЩИЙ.....	41
ГЕТЕ.....	44
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И МЫ	54
ГОГОЛЬ И РОССИЯ.....	72
ВСТРЕЧА С МУССОЛИНИ.....	77
МУДРОСТЬ ПУШКИНА	84

ИОСИФ ПИЛСУДСКИЙ

Вы хотите, чтобы я рассказал мое впечатление от беседы с Начальником Государства. Боюсь, что это трудно будет сделать. Вот одна из тех минут, когда я чувствую себя плохим рассказчиком, плохим писателем. Да ведь и всегда главное в живой беседе, в слове изреченном — неизреченно; это главное есть внезапное чувство, волнение, улыбка, взгляд, молчание, молния, музыка. А как изобразить молнию, рассказать музыку?

Что же касается до деловой стороны беседы, может быть, важной и обильной последствиями, то я не хочу касаться ее, во-первых, потому, что не знаю, имею ли на то право, а во-вторых, потому, что я обращался к Иосифу Пилсудскому не как политический деятель к Начальнику Государства, а как человек к человеку.

Мне всегда казалось, что современная религия непоклонения героям, неблагоговения перед великим, оплевания святого, неподчинения духовным властям, детского, рабского бунта есть главный источник современного хамства. Моя религия — противоположная. Ее завет гласит: нет на земле ничего более достойного поклонения, чем отблеск лика Божьего в лице человеческого, в Герое. Герой все еще, и в наши дни, как было древле, как будет всегда, есть непреложное Богоявление, Теофания.

Когда он вошел в комнату, на меня «повеяло веяние тихого ветра», о котором говорится в Третьей Книге Царств; я сразу почувствовал: да, это Он, Герой, *ens realissimum*, «существо реальнейшее», как выразился Ницше о Наполеоне.

Я узнавал и не узнавал этот образ, повторяемый в изображениях бесчисленных: небольшую, коренастую фигуру Солдата и Рабочего, лицо то усталое, почти старое, то бессмертно юное; крутой, нависший, выпуклый лоб, изборозженный глубокими поперечными морщинами, как твердый камень — резцом ваятеля; крепко сжатые губы «великого молчальника» и под упрямо насупленными, торчащими рыжими бровями странно светлые глаза, то затуманенные, то опрозраченные, с неизъяснимым взором, смотрящим внутрь, ясновидящим. Я знал, что образ этот будет изваян, «вековечнее меди», резцом великого ваятеля, Истории.

Я начал говорить и не мог. Кажется, главное в волнении моем была неожиданность, удивление — удивление простоты. Я думал: будет величаво, торжественно, — и вот как просто.

В Бельведерском дворце — простая, тихая комната; простое, тихое небо в открытом окне, туманно-серое, над туманно-зелеными Лазенковскими кущами. И он — тихий, простой, как небо.

Я начал говорить по-французски. Он тотчас же свел на русскую речь.

— Вам удобнее так? — спросил с милой улыбкой.

Заговорил тихо — и я сразу утих. Точно век знакомы. Какая между нами бездна и какая близость! Друг. Брат.

О чем же мы говорили? Я бы не мог передать в кратких словах содержания полуторачасовой беседы и, если бы мог, повторяю, не хотел бы. Попытаюсь отметить только отдельные точки, звуки этой музыки, искры этого огня.

Нечаянную радостью было для меня то, что он все понимал с полуслова, с намека, с одного взгляда, улыбки, молчания.

Кажется, современные люди погибают не столько от глупости, недостатка ума, сколько от недостатка воображения, того сочувственного воображения сердца, которое в сердце вещей заглядывает глубже, чем самый зоркий ум. Я не сомневаюсь, что если бы люди, не те или другие, а просто люди, обитатели планеты Земля, могли вообразить то, что сейчас происходит на шестой части этой планеты, в России, то они этого ни минуты не вынесли бы и вдруг, все вместе, кинулись бы и прекратили бы этот невообразимый ужас.

Вот этим-то даром воображения сердечного, даром «интуиции», «ясновидения», который Мицкевич считает главным даром славянского племени, Иосиф Пилсудский обладает в такой степени, как никто из современных политиков.

— Я — романтик и реалист в одинаковой степени, — определил он себя самого в беседе со мной как нельзя лучше.

Когда я рассказывал ему о большевицком ужасе, у меня было такое чувство, что он все уже знает, видит отсюда так же, как я это видел сам.

К моему рассказу прибавил только две черточки. Анекдот о бердичевском буржуе, спасенном от большевиков, который обновил галстух: «Подумайте только, подумайте, ведь два года не носил галстуха!» — чуть не заплакал несчастный. И еще рассказ об украинских кладбищах, о внезапно колосющихся жатвах новеньких крестиков по ухODE большевиков.

— Но есть же и у России дно. Когда-нибудь дойдут до дна — провалятся...

— Бойтесь русского дна, господин Маршал: это дно бездны, а бездна втягивает. Бойтесь русского дна за Польшу и за Европу.

Он опять помолчал, и я понял что он так же видит дно, как я.

Речь зашла о реставрационном, погромном тыле Колчака, Юденича, Деникина.

— С русской реставрацией у Польши никакого соединения быть не может. Лучше все, чем это. Лучше большевизм! — воскликнул он с грозным гневом, и глаза его сверкнули.

Он говорил со страшною силою. Я почувствовал, что тут крепко, не потрясаемо. Я радовался; но как мне было уверить его, чем доказать, что не я один радуюсь, не я один чувствую так же, как он, а вся Россия?

— Что же нам делать, нам, полякам и вообще европейцам? — продолжал он спокойнее. — Нельзя от людей требовать гениальности; большинство — люди среднего здравого смысла; на них и опирается всякая политика. Они верят тому, что видят, а видят они только две России — старую, царскую, и новую, большевицкую. Надо было сделать выбор между этими двумя Россиями, потому что третьей нет...

— Есть.

— Где же, где? Мы только ее и хотим и ищем. Укажите же, где она?

Что мне было ответить, на что указать? На русский Париж, Лондон, Берлин? Кого назвать? Милюкова, Маклакова, Сазонова, Керенского?

Я вспомнил «колосящуюся» жатву новеньких крестиков и ответил:

- Третья Россия не здесь, а там, в России.
- Вы это знаете? Верите?
- Верю.

Мне стало страшно: что, если он покачает головой и скажет тихо и просто: «А я не верю». Но он отвернулся молча и посмотрел в открытое окно простыми, тихими глазами на простое, тихое небо. И я вздохнул свободнее: пусть еще не верит — может, поверит.

Тут началась главная часть беседы — о том, что надо делать для «третьей России». Этого повторять не буду, скажу одно: что бы ни говорили о нем, Иосиф Пилсудский не враг России. У него нет камня за пазухой. Это я говорю для всех, а для меня он больше, чем то, что я о нем сейчас говорю. Хотя бы сорок тысяч Миноров, Зензиновых, Керенских уверяли меня, что в таком разговоре я «предал» Россию, я не поверю им.

— Я не знаю, кто кому сейчас нужнее, вы нам или мы вам, — воскликнул я в пылу беседы.

Теперь, издали, я понимаю, что это могло показаться почти дерзким: так мы слабы, так «не существуем», по видимости. Но тогда это было не дерзко, а только искренне. И кажется, он понял, что за видимостью есть иное, большее.

Он много расспрашивал о генерале Брусилове и о новом «патриотическом» духе красной армии. И опять понял то, что так трудно, почти невозможно понять человеку нерусскому — самую бессмысленную из русских бессмыслиц — Интернационал «национальный» русских солдат-коммунистов, героев «похабного» Брестского

мира, идущих помирать под знаменами Бронштейна-Троцкого за Святую Русь. Понял, что и это возможно в «стране безграничных возможностей». Деловое острие беседы и заключалось в том, как отразить эту опасность, может быть, для Польши и России величайшую. Что тут уже Россия и Польша — вместе, он тоже понял.

Я назвал Бориса Савинкова, как единственного сейчас русского человека в Европе, способного что-нибудь сделать для «третьей» России. Мне трудно было говорить о Савинкове: он мой друг многолетний, человек слишком мне близкий. Но только что я заговорил, как почувствовал, что собеседник мой думает о нем почти так же, как я.

Вот, кажется, все, что я могу сообщить о деловой части беседы. Я сознаю, как от этих умолчаний тускнеют мои впечатления и отраженный в них образ. Но я надеюсь, что когда-нибудь еще вернусь к нему: забыть его нельзя — он в памяти моей, в сердце моем неизгладим на веки веков.

Еще одна, последняя черта: без нее этот образ был бы слишком неполон.

Говоря по поводу Савинкова о значении одинокой творческой личности в судьбах народа, я сослался на него самого, Иосифа Пилсудского.

— Вы создали Польшу, вы могли бы сказать: «Польша — это я».

— Вы думаете? — усмехнулся он горькой усмешкой. — А знаете, что бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще борюсь с Польшей, что я против Польши. Я человек достаточно сильный, но иногда и я слабею...

Вдруг опять, как в первую минуту свидания, на меня повеяло «веяние тихого ветра». Только теперь, когда он